

Глеб Иванович Успенский

# Буржуй



# Глеб Иванович Успенский

## Буржуй

*Текст предоставлен правообладателем.*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=665855](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=665855)

### Аннотация

«...В больших попыхах наконец-таки выскочил я из номера и по обыкновению не пошел, как ходят люди, а уже побежал по коридору к крыльцу, но вдруг на этом самом крыльце, с которого мне следовало бы сбежать так же проворно и торопливо, как я делал это до сих пор, вдруг я как-то ослаб, размяк, как-то вдруг совершенно потерял потребность быть впопыхах, бежать, как-то вдруг почувствовал, что «не пойду» овладело мною так же сильно и всемогуще, как до сих пор всемогуще владело сознание необычайной важности «полстакана». Я вдруг увидел, что все это до такой степени несказанно уже надоело мне, наскучило и уже сделалось нестерпимым, что я как бы прозрел...»

# Содержание

1

Конец ознакомительного фрагмента.

4

12

# Глеб Иванович Успенский

## Буржуй

### 1

Было шесть часов вечера – время идти пить полстакана знаменитого № 17 Эссентуков с полстаканом теплого молока. Дней двадцать аккуратнейшего исполнения предписаний доктора приучили уже меня к ощущению некоторого страха, как только стрелка часов начинала приближаться к известной, указанной доктором точке на циферблате. «Шесть часов утра... шесть часов вечера...», следовательно, «нужно торопиться», «спешить», «бежать», чтобы «не опоздать». «Полстакана нумера семнадцатого и полстакана молока...», «полстакана молока и стакан нумера шестого» – ничуть не менее роковых часов вторглись в мое сознание, как нечто в высшей степени значительное, хоть и непостижимое, и все это вместе, то есть и «шесть часов», и «полстакана», мало-помалу, по мере ежедневной практики, приняло размеры дела первой важности, чего-то неотвратимого, неумолимого и не подлежащего ни малейшему снисхождению, а тем менее какому-либо пониманию.

«С испугом» узнав, что «уже» шесть часов, что необходимо спешить, что там ждут неумолимые «полстакана и пол-

стакана», которых я теперь трепетал, как трепетал в детстве учителя немецкого языка, который, ни слова не понимая по-русски, был неумолим к тем, кто ни слова не понимал по-немецки, я, «второпях и суетясь», забывая то надеть галстук, то, надевая сюртук, не надевал жилета и т. д., елико возможно спешил выскочить из моего номера «в меблированных комнатах», чтобы «бежать», чтобы оправдать доверие ко мне строгого «полстакана» и не оскорбить этих «шести часов», которые, как я уже привык думать, существуют исключительно для меня и поправления моего здоровья, и что я поступлю подло, если пренебрегу этой стрелкой, нарочно для меня остановившейся на «шести», ожидающей меня и притом ожидающей исключительно для моей пользы.

В больших попыхах наконец-таки выскочил я из номера и по обыкновению не пошел, как ходят люди, а уже побежал по коридору к крыльцу, но вдруг на этом самом крыльце, с которого мне следовало бы сбежать так же проворно и торопливо, как я делал это до сих пор, вдруг я как-то ослаб, размяк, как-то вдруг совершенно потерял потребность быть в попыхах, бежать, как-то вдруг почувствовал, что «не пойду» овладело мною так же сильно и всемогуще, как до сих пор всемогуще владело сознание необычайной важности «полстакана». Я вдруг увидел, что все это до такой степени несказанно уже надоело мне, наскучило и уже сделалось нестерпимым, что я как бы прозрел, одумался, очувствовался и с величайшим удовольствием почувствовал, что теперь я уже *не пой-*

ду, ни за что не пойду, что не боюсь я ни шести часов, ни семнадцатого номера, ни шестого номера не боюсь, и чорт с ними, с этими «дурацкими» полстаканами!

Под сильнейшим впечатлением этих неожиданных мыслей и желаний я немедленно почувствовал потребность полнейшей свободы, потребность надеть туфли, снять с себя все, что я под страхом «полстакана» напялил на себя, не взирая на изнуряющую жару дня, пойти на крылечко, которое выходило на засаженный деревьями двор, сесть там на плетеный стул и сидеть, наслаждаясь вечером и единственным, охватывавшим всего меня сознанием полнейшего освобождения от *всего этого*. Но когда я все это выполнил с лихорадочной быстротой человека, выпущенного из тюрьмы на свободу, когда я беспечным образом, в туфлях и легкой парусиновой блузе, уселся на плетеном стуле, радостно чувствуя, что я никого «из них» не боюсь и могу безгранично наслаждаться приближающимся вечером, во мне так же неожиданно, как и жажда свободы, пробудилась самая настоящая жажда *«поговорить* хоть с кем-нибудь, услышать какое-нибудь живое словечко... о чем-нибудь!.. Буквально о чем-нибудь, но лишь бы оно было живое...» И я почему-то понял, что я не только глупо, но даже просто подло поступал, что ни разу во все время пребывания в этих меблированных комнатах не поговорил вот с этим старичком, крестьянином-каменщиком, живущим со мною в одном дворе. Все время я видел его в углу двора «тюкающим» какую-то железной кри-

вулькой по камню, высекающим из него надгробный памятник с неуклюжим крестом, видел его живые, ласковые глаза и не подошел, не поговорил, не отвел душу живым словом живого разговора, не подошел, боясь, что меня сердито дожидается какой-то сердитый «полстакан». Мало этого, целая партия переселенцев, скрипя немазаными колесами и боками телег, разбитыми дальней дорогой, поздно ночью остановилась под самым моим окном на ночлег, простояла здесь и проговорила всю ночь, и я не выскочил к ним, не поговорил с ними, полагая, что мне завтра предстоит серьезное дело – «вставать в 6 часов и бежать»... Правда, проглотив полстакана, я тотчас же воротился домой с целью поговорить с ними, но, когда воротился, партия переселенцев ушла. И все это я променял на какие-то «полстаканы с полстаканами», тогда как тут-то, среди этих-то живых людей, говорящих о живом деле и притом теми самыми словами, какими следует говорить, – тут-то и есть исцеление, лекарство для бездействующего духа, от которого я полагал исцелиться каким-то нелепым полстаканом!

Конечно, в этой жадности услышать живое слово, «поговорить с живым человеком» немалую роль играла и непривычная мне изолированность таких учреждений, как те, которые называются «минеральными водами», учреждений, собирающих известную публику и обязывающих ее к повиновению известным порядкам. Трудненько, конечно, обязательно два-три часа без всякого толку шляться из угла в

угол по палящей жаре, трудненько не съесть вот этой вкусной-превкусной рыбы, которую на ваших глазах ест какой-то еще не бывший у доктора счастливец, и еще более трудно ежедневно по два раза в день подставлять свои нервы под беспорядочные удары музыкальных «попурри», в которых умирающая (ежедневно в пять часов утра и в шесть часов вечера) Травиата, вместо того чтобы испустить последний вздох, к которому уже приближаются курлыкающие, как индюшка, звуки кларнета, вдруг восклицает после неожиданного удара в барабан: «Ах, как я люблю военных!» и вслед за тем, также в неожиданном месте, начинает путаться пьяными ногами пьяного камаринского мужика, сопутствуемого также полупьяными звуками как будто полупьяных смычков. От всего этого, конечно, весьма легко одуреть, и все это может привести в самое ненормальное состояние самые нормально настроенные нервы. Но не эти минеральные вздоры угнетали меня, когда я, освободившись от них, ощутил потребность поговорить с живым человеком. Эти вздоры даже и не припомнились мне в момент моего пробуждения, но зато припомнилось что-то, действительно мертвенное, что-то, прямо сказать, мертвое, как труп, холодное, распухшее, безжизненное, дурно пахнущее и в общей непривлекательной сложности своих свойств неосязаемо извивающееся тут, в этом обществе минеральной группы, среди этих полстаканов, семнадцатых и шестых нумеров, этих Травиат, умирающих по-камарински, вообще всего этого пустяшного и недо-

едливого обихода. Вот именно это еще не ясное для меня и ни в какие определенные формы не вылившееся ощущение заставило меня с такой страстной жадой чувствовать свободу и искать удовольствия живой беседы. Теперь уже я ясно чувствовал, что не надоедливая и однообразная суতোлка лечебного заведения так мне опостылела и так мне сделалась ненавистна, а постыло и ненавистно вот это что-то мертвое, трупное, что меня мучило постоянно, гораздо сильнее, чем мучил по-индюшечьи курлыкающий кларнет.

Никак не в «обличение» современного русского общества и тем менее в обличение этой группы этого общества, которая в самом деле лечилась нынешним летом на кавказских водах, говорится все это. Не говоря о действительно тяжкобольных людях всех званий и состояний, не подлежащих никакому обличению, не подлежит обличению решительно никто в отдельности, никто из образованных, высокообразованных или простых, необразованных людей, которые по тем или другим причинам сочли нужным приехать полечиться. Уж если что подлежит обличению, так это именно та мертвенная черта в нравственном настроении русского общества, которая вообще заставляет и образованных, и высокообразованных, и вообще людей с большими нравственными требованиями *поубавить* эти требования до минимума, *погодить*, *повременить* с ними соваться, дает вам, образованному и высокообразованному человеку, очень ясное понятие о том, что теперь не время для проявления ваших высоко-

образованных мыслей и связанных с этими мыслями целей; что большие знания и большие нравственные и даже, вообще говоря, опрятные человеческие отношения можно и даже должно отложить до другого времени, что их надобно держать до поры до времени про себя, что теперь не то время, что волей-неволей, а надобно переждать, пока кончится это давление мертвенной тяготы жизни, что, наконец, с этой тягостной безжизненностью... жизни ничего не поделаешь, покуда она «сама собой» не окончит своего существования естественною смертью.

Ощущая до полной ясности силу этого гнета и степень отращения, испытываемого не мною, конечно, одним к угнетающей, а главное, как бы обязательной для всех и вся узости и изменности, не только в общественных, но, опять-таки, главное, прямо в личных требованиях, в личной строгости к самому себе, я, однако, долгое время упорно напрягал свое воображение, чтобы олицетворить сложность моих дурных ощущений в каком-либо живом, видимом и осязаемом типе, найти виновника, распространяющего в живом людском обществе запах холодного трупа. Кто же это такой мог быть, вот хоть бы среди всех этих разных сортов людей, которые собрались сюда лечиться? От кого, от какого типа, от какого образа человеческого с полстаканом № 17 в руках несет этим мертвенным запахом, заставляющим одновременно сознавать, что «иначе и не может быть» и что в то же время чувствительность вашего носа оскорбляется не во-время и

не у места?

Не знаю, правильно ли было течение моих мыслей в весьма продолжительном и напряженном разыскании «виноватого», только в конце концов я, кажется, нашел «что-то», если не вполне достоверное, то во всяком случае несомненно приближающееся к истине. Сужу об относительной достоверности моих соображений по тому многочисленному количеству современных явлений, которые вдруг стали мне понятны, когда я невольно остановился мыслью на этом «виноватом» и не мог не почувствовать, что этот «виноватый» есть именно он, «новорожденный российский буржуй», продукт, выросший на банковых дрожжах, на усовершенствованных способах европейского кредита, так широко разросшегося на российской почве в последние двадцать, двадцать пять лет и призвавшего к пользованию благами цивилизации массы людей, у которых даже и потребностей-то в этих благах не существовало.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.